
Мария Карайчева

Неживые растения

Рассказы

Клим

С каждой затяжкой дым поглощает Клим. Его горло, легкие, бурая кровь, несущаяся под зеленоватыми венами, — все наполняется дымом и вспыхивает, как бензин, горит, сторает, сжигает, освобождает его от себя самого. Дым вызывает удушье — Клим знает это, и ему все равно. Сгореть. Задохнуться. Какая разница? Дым все поправит. Когда в детстве забивался нос, мама закапывала что-то такое, отчего в носу пролетал мятно-эвкалиптово-хвойный ветер и уносил с собой сопли. Потом, десять лет назад, мама от него ушла.

Клим выдыхает дым. Есть шанс, что исчезнет, по крайней мере, ненавистный пейзаж. Но вот снова — бурый дом, поделенный на жизни балконами, уставшие от лета листья и тусклое пюре неба. Сигарета заканчивается, хочется бросить ее вниз, прямо в кошачьи миски. Но кошек жалко, и Клим тушит бычок о стену, плюет и сваливает с последнего, шестнадцатого этажа.

Он спускается на свой этаж. Открывает дверь. Швыряет рюкзак. Стаскивает толстовку. Заходит на кухню. Там, перед тортом с шестнадцатью свечками, сидит его мама. Почему-то закладывает нос. Как будто опять детство и насморк, болит горло, жар, он в кровати, а мама за стеной, в коридоре, разговаривает с кем-то по телефону. Он не разбирает слов, а звуки становятся то очень большими и мягкими, то маленькими и квадратными с острыми уголками... Так же издали, как будто из глубины того коридора, как из детства, он видит теперь ее спустя столько лет. Она улыбается и протягивает руки — и он идет к ней, собираясь уткнуться в живот, как прежде, и даже не замечает, что это она прижимается щекой к его правому плечу, потому что теперь уже он ее выше. Серьги с сапфирами, спирали волос, пахнет цитрусами и гвоздикой. Мама.

И вот они вместе, она дома. Тут как тут вечно светящийся отец со своей улыбочкой. Климу все время кажется, что у того в глазах какие-то вертушки, похожие на два куска сырокопченой колбасы — крутятся безостановочно, что он вообще под чем-то, потому что ну чему же можно радоваться в этом поганом мире?! Мама. Ну, колись, — куришь? Дашь сигаретку? Они курят при отце, прямо на кухне, он машет на них рукой и улыбается. Кажется, вот-вот заплачет. Нахваливает себя. И классы йоги я веду. И буддизмом увлекся. И учусь принимать роды в домашних условиях. А вот у

Мария Карайчева родилась в 1986 году в Москве. Закончила исторический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности историк искусства. Рассказы печатались в «Знамени», в коллективных сборниках издательства «ЭКСМО». Живет в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

меня тут пирог — я сам пеку, да. Кот Матроскин чёртков. Но сегодня даже не бесит, потому что мама хохочет и треплет их обоих по головам. Мама. Вернулась. Мама, так ты насовсем вернулась? Нет, я не могу жить с папой. Ты же понимаешь. Мы не будем вместе. Столько лет прошло. Но теперь я в городе и буду вас иногда навещать. Мама. Вернулась. И ушла опять.

И опять ее долго нет, всю и без того бесконечную осень. Отец бегаёт как подорванный со своими пилатесами, хренатесами, какими-то блаженными тетками... Кажется, мамино появление его еще больше на все это повернуло. Когда-то ведь был нормальным, Клим даже любил его. Но вот мама ушла, и вместо того чтобы жрать водку и биться головой обо что-нибудь пожестче, он заморочился на всех этих практиках, принялся учить всех подряд счастью, таскать в дом полудурошных баб. Ладно бы он их трахал — это еще Клим бы понял, но нет, у него целибат. Перестал жрать мясо, по утрам бегаёт, и улыбается-улыбается-улыбается. Да отвали ты, — мысленно отвечает ему Клим на каждое утреннее приветствие. Теперь очевидно, что отец — единственное препятствие, что если бы не он со своей неуместной радостью бытия, Клим с мамой были бы вместе.

Отец обложился книжками по психологии, в которых он типа вычитывает, как правильно общаться с подростком. Настало время чистого эксперимента. И Клим курит, не шугаясь, бьет окна, бухает, дерется и даже мутит с ботанкой, внучкой завуча. Поставил ей на шее синюший засос, и отца вызвали в школу. А он все равно улыбается и понимающе кивает, и использует метод активного слушания. Ты расстроен. Тебя обидели. Ты злишься. Тебе нравится девочка. Да отвали ты! Меня очень обижает, когда со мной так разговаривают...

Мама все не возвращается. Своего номера телефона она не оставила. Сама не звонит. Квартира, которая в первые дни только и делала, что напоминала о ее внезапном исчезновении, теперь притихла.

Отец как дурак каждый день надраивает полы, вычищает унитаз, раз в три дня устанавливает посреди стола вазу со свежими цветами. Клим ухмыляется. Вернется она, думаешь? Стараюсь мыслить позитивно, отправляю запросы в космос! Робот хренов, распространитель полуфабрикатов успеха и счастья — орет все внутри у Клима. Но вдруг, вдруг и правда сработает? — переходит на шепот. И Клим на всякий случай разгребаёт завал у себя в комнате.

Наконец, мама и правда приходит. Под Новый год. Клим как раз валяется с гриппом. Отец вливает в него какие-то самодельные травяные микстуры, кудахчет, причитает, раздражает. Звякает звонок, слышны шаги и через вечность — тягучую, как резиновая труба, — в комнату Клима заходит она. Мама. Прикладывает руку ко лбу. Дает попить воды. Капает что-то мятно-эвкалиптово-хвойное в нос. Отец влетает в комнату с какими-то органическими пирожными, то ли из подорожника, то ли из крапивы — хотя откуда им взяться посреди зимы, — в общем, с какой-то гадостью. Она пробует, принимается его расхваливать. Отец, зардевшись, убегает на кухню за салатом из еловых ветвей и шишек. Твой папа — молодец. Я ушла тогда, а он взял все в свои руки, воспитал тебя, вырастил, ты такой стал красивый — загляденье. И на кого же ты похож? На тебя, мама, я похож на тебя! У меня твой характер, твои манеры, твои гены! Я не хочу иметь ничего общего с тем придурком, что делает бусы из желудей, а мороженое — из подснежников. Он лицемер. Притворяется, что все круто. Еще и торгует этим своим притворством. Или он правда так счастлив? Я даже не знаю, что хуже. Я вообще не понимаю, мама, как ты жить-то могла с ним? Ты правильно сделала, что ушла. И что не возвращаешься. Он же реальный мудака, ну ты посмотри на него! Да я сам бы свалил от такого. Нет, Клим, все не так, прекрати... Может, ты меня вообще от кого-то другого зачала? Не от этого куска пластмассы?

Клим смеется и кашляет. Он знает, что отец стоит в дверях и слышит его слова. Климу все равно. Он выдыхает. Сгореть, задохнуться, задушить и сжечь. Сжечь и

задушить. Освободиться от него. Освободиться от себя. Мама целует Клим и уходит. Мама опять вернулась. Мама опять ушла. Клим засыпает.

Сколько времени, непонятно. В окно заглядывает бурый дом со своей среднестатистической тоской. Горит всего несколько окон, в остальных уже бессонно ворочаются и всхрапывают под вспышки телевизора.

Клим встает попить. В конце коридора распахнута дверь, Клим хочет закрыть ее, но вместо этого выходит из квартиры. На лестничной клетке распахнуто окно, а на подоконнике лежат его сигареты и зажигалка — наверное, мама брала... Клим закуривает, выдыхает в черное небо дым, высовывается в окно, чтобы плюнуть, и видит тело папы.

Теперь мама точно вернется!

Мама возвращается. Она ночует с ним несколько дней, устраивает похороны, поминки. Сползаются соседи, бабушка, отцовские ученицы, какие-то одноклассники. Еле-еле запихиваются в их двушку, долго сидят, много говорят, почти не пьют. Клим обнимают, хлопают по плечу, заливают слезами. Среди них мама. Они ее все презирают, а ему по барабану. Клим победил! Мама теперь с ним!

Понимаешь, эта поездка была запланирована еще давно, и я теперь не смогу ничего переиграть. Я уезжаю из страны. Но я вернусь. Будем переписываться, да? Созваниваться по скайпу, да? Ну не грусти, малыш! Мама. Все такая же высокая, красивая. Смеются сапфиры, щекочет ноздри корица. Шелковый платок завинчивается вокруг теплой шеи... Мама уходит. Можно я с тобой? Не получится, малыш. У меня муж, ребенок. Жаль, не удалось нам поболтать, да? Но я напишу тебе. И приеду. Бабушка за тобой присмотрит, да? Не грусти!

Дверь закрывается. Слышно, как открывается лифт и, сглотнув, забирает маму. Вокруг стихает. Квартира молчит. Клим плетется на кухню. В холодильнике отцовский порядок, повсюду травы, ценность которых Клим не понимает, потому что никогда не слушал, что отец о них рассказывал. Занять бы себя чем-то, но даже в школу не пойдешь, потому что каникулы и никто не учится. За окном вместе с метелью рябит безобразный бурый дом с его сохнувшими на обшарпанных балконах простынями, наволочками и трусами — из года в год они обещают прохудиться при следующей стирке и все никак. Клим не видит, но знает, что на полу каждого балкона стоит пластмассовый горшок с увядшим цветком, о котором никто не помнит.

Троллейбус

Нельзя сказать, что у Андрея Соболева всегда было хорошее настроение, но улыбался он постоянно. Пожалуй, это единственное, что роднило их с Люськой. Ее улыбка напоминала рояль: широкая, распахнутая, с чуть выдающимися вперед зубами — Люська намерено сделала их своей фишкой и улыбалась, даже когда злилась. Высокий, сутуловатый Андрей был застенчив и нелюдим, и Люся с легкостью стиснула его верблюжьё фигуру в своем маленьком кулачке. Андрей слушал ее рассказы про тряпки из Италии и французские духи.

— Эх, Соболев, деревянный ты человек. Инженер, — что с тебя возьмешь? Ты как знаешь, а я везде побываю и вообще всего добыю!

— Обязательно добыешься, ты же умница, — Андрей накрывал гигантской ладонью ее голову — и улыбался по-настоящему.

Грохнула Перестройка. КБ, где они познакомились, медленно застывало, в живых оставались только растения на замызганных окнах. Покрутившись в секретариате, Люська ринулась в торговлю, ни на минуту не вспомнив о высшем педагогическом. Андрей же продолжал чертить, перемены в стране его не трогали. Пока однажды после болезни он не обнаружил на месте своего отдела склад испанской

обуви. Парень в кожаной куртке отдал ему трудовую и пыльное денежное дерево. Так Андрей остался без работы.

Люська была счастлива. Уговаривала вместе с ней торговать шмотками из эмиратов.

— Это неловко, — сжимался Андрей. — Да и не смогу я.

Его рука опускалась на ее голову:

— А вот ты — умница! И я тоже куда-нибудь устроюсь.

— Ага, водителем троллейбуса, — выныривала из-под его руки ослабившаяся Люська.

Приличной работы не нашлось, и Андрей действительно отправился в троллейбусный парк с мыслью, что возьмут слесарем-механиком, но, увы, все было занято, и пришлось учиться на водителя. Люська ждала, что Андрей передумает, что-то подвернется, либо он пойдет работать вместе с ней. И когда ничего из этого не произошло, она от него ушла. Сдирать Люсину фотографию, приклеенную к торпеде покосившегося троллейбуса ЗИУ-9, Андрей не стал.

Было непросто. Андрей все интересовался, не освободилось ли место механика. А потом привык. Выходил из дома, когда было еще темно, зимой пространство вырисовывали белые деревья, летом — птичья болтовня. Со временем он хвастал Люсе, что перевидал все московские рассветы.

Люся, вопреки собственным планам, вначале изредка, а потом все чаще звонила и приезжала к Андрею, трясла перед ним фотографиями сменяющих друг друга мужей и бойфрендов, звенела браслетами и сережками, рассказывала про ларьки и путешествия, — вроде как искала одобрения. «Умница, Люська!» — гладил ее по голове своей ручищей Андрей.

— А ты все баранку крутишь, Соболев?

— Да, — улыбался Андрей.

— Ну и дурак! — обижалась на что-то Люська и ныряла в свою новую шубу, распаханную им позади нее.

— Ну что поделать, Люсенька! — обнимал он ее на прощание.

Андрей полюбил свою работу. Колеса чертили на асфальте длинные следы, небо было разлиновано проводами. Внутри троллейбуса резвилась жизнь: за ней можно было подглядывать в салонное зеркало без страха, что кто-то засмеет его огромные губы или дурацкую лыжную шапку. Он был в центре событий, когда держал в руках руль, как будто сам крутил земной шар. Уходить имело смысл разве что на серьезную должность...

И как раз позвонил бывший однокурсник, он возглавил девелоперскую компанию и пригласил к себе на работу. Вечером после собеседования Андрею не спалось. Откуда-то появилась Люся. Она стянула с себя платье, колготки, бросила серьги и свернулась у него в районе живота.

— А мне работу предложили, начальником отдела... — зачем-то проговорил Андрей. — Но я не хочу.

— Какая же ты все-таки сволочь, Соболев, — всхлипнула Люська.

Андрей проводил глазами тень денежного дерева, пробежавшую по потолку за проехавшим по улице троллейбусом, и уснул.

Сансевиерия

В кабинете с самого утра моргает верхнее освещение — прямо над столом, за которым работает Серёжа. Электрик все не идет, а у Серёжи чувство, будто на него направлены софиты, внимание и смех. Серёжа очень высокий. С самого детства ему кажется, что костюм на нем смотрится нелепо, даже когда он сидит за столом: штаны будто бы коротки, а пиджак великоват. На самом деле все идеально, к тому же Серёжа отлично вписывается в местный дресс-код. Белые стены, белая зарплата и белая рубашка. У Серёжи она самая обыкновенная, такая же, как у всех менеджеров.

В принципе, в этом офисе выделяется разве что сансевиерия — растение с заостренными листьями в крапинку. Оно живет на полу, в самом углу. Глядя на него, Серёжа обнаруживает себя в бесцветном детстве, в садике: в окне рябит метель, а на завтрак манная каша. В живом уголке в пыли скучает такое же несчастное растение. Периодически, наравдовавшись морской свинке и попугайчикам, дети хватают с подоконника пластмассовый кувшин и поливают цветочек. Всей группой. По очереди. А он ничего, держится. По сравнению с этим офис для растения — санаторий. Поливают по расписанию, по пятницам смахивают пыль, по понедельникам опрыскивают. И горшок керамический, белый — не какое-нибудь плетеное помойное ведро коричневого цвета. У Серёжи ситуация другая. Нет у него уверенности, что офис чем-то от детского сада отличается. Только там был сон после обеда, а тут — дурацкий костюм, коленки, вжатые в стол, и все та же ноябрьская метель цвета манной каши за грязным окном.

Пришел электрик. Он расставляет стремянку и взбирается на нее. Из кармана у него торчит небольшое радио. Ну чтобы не так скучно было лампочки менять. Серёжа очень любит музыку, поэтому попса для него оскорбительна. Сансевиерия с Серёжей заодно: плохую музыку на радиоволнах она не переносит. От нее на растение накатывает депрессия, листья тускнеют и сохнут на глазах. Все говорят, что это из-за отопления, а Серёжа точно знает — всему виной эти отвратительные звуки, то и дело возникающие в кабинете по разным поводам.

Очередной бездарный музыкальный проигрыш. Не замечая, Серёжа щелкает мышкой по ячейкам экселевской таблицы — в такт музыке. Подпеваает. Слова выпрыгивают из него сами и тут же собираются на стенах подъезда с торчащей в окне, справа от мусоропровода, стертой луной, в руках — гитара, вокруг шеи — горячие руки с тремя пестрыми фенечками на левом запястье. Кружит запах дешевого портвейна и подгоревшего у соседки пирога с капустой... Эта песня знакома Серёже, он знает ее, а она знает его. Он никогда не слышал ее по радио, да еще и в этом исполнении, поэтому не врывается сразу. Эту песню написал сам Серёжа.

Песни Серёжа не пишет давным-давно. Прежде у него даже группа была — но они так и не продвинулись дальше районных клубов, куда их пускали-то через раз. Потом Серёжа женился, родилась дочка, и возник полный комплект бывшего музыканта: квартира, ипотека и офисная работа. Гитару пришлось продать. Только в его отделе таких музыкантов было трое — впору создать новую группу. Но их едва хватало на совместный столовский обед по понедельникам, во вторник Серёжа придумывал себе срочное задание, а в среду его уже не приглашали. Писать можно было и без группы, и без гитары, но слова и ноты разбежались. Все, что написал, хранил в тетради, кроме этой песни — она так и осталась на подъездной стене.

Песня пылью разносилась по городу, захватила все вокруг. Она бежит за Серёжей по переходу метро, будит по утрам, приобнимает в баре. Аня — жена Серёжи — напевает ее, когда гладит его белую офисную рубашку. Волосы в дождевой пыли, на лестничной площадке прыгает свет, каждый его скачок толкает в объятия, скрипит пуховик...

Разрываются мессенджеры. Слышала твою песню — вау! Чувак, колись, сколько ты заработал. Я всегда знала, что ты гениальный музыкант. Ты чо, ее продал? — мы в шоке! В кругу этих людей Серёжа — суперзвезда. Он о них и думать забыл, а они, как оказалось, помнили не столько его, сколько его песню. Они предлагают как-нибудь встретиться. Кажется, ему пишут почти все, кого он когда-то знал...

Аня готовит ужин. С экрана телевизора неизвестная девушка в рыжем глянцево-м плаще швыряет сухие листья — кажется, и с ним такое уже когда-то было. Сколько же лет прошло? Десять что ли? Сваленное дерево в парке, октябрьская грязь на ее каблуках. Он тогда решил сам снять клип... В телевизоре из осеннего леса кадр перешагивает в студию. Барабан, гитара, бас, клавиши, летающий на проводе микрофон. Эта четверка теперь везде: на телеке, в набитых клубах, на билбордах. Кто они такие, откуда взяли его песню? Мы думали, что время битлов прошло. Наконец, у нас

появились собственные битлы. Ну да, если бы битлы не знали нотной грамоты и начинали с ворованных песен — примерно так бы это и звучало. Блин, Серёж, мне так они нравятся, такие классные, вообще... Ты же не ревнуешь, Серёжа?

Ане он, конечно, не говорит. Во-первых, она равнодушна к его музыке. Прямо не говорила, но демонстративно спотыкалась о гитару, где бы он ее ни оставлял, даже имитировала падение себе на голову с антресоли — после этого Серёжа и продал инструмент. Вот бы она удивилась тому, что рингтон из ее телефона сочинил он... Во-вторых, а что именно тебя задевает, Серёжа? Что у тебя украли песню и ты не понимаешь, кто ее слил? Что ее поют и играют совершенно не так, как ты задумал? Что пока неизвестные тебе люди используют твоё творение и зарабатывают огромные деньги, ты с трудом выплачиваешь ипотеку? Что стоит этой песне заиграть, к тебе тянутся твоё прошлое и руки девушки, с которой вы расстались еще до того, как ты повстречал будущую жену?

Ужин готов. Точь-в-точь как тогда в подъезде, мигает освещение — это елка в углу комнаты. Под окнами тормозит машина, открытое окно ревет знакомым припевом. Серёжа тащит Аню на диван и со злостью рвет на ней свои воспоминания, ныряет в них навстречу не Аниным рукам. Недели через три после Нового года Аня сообщает, что у них будет ребенок.

Теперь денег надо еще больше. Серёжа пытается составить в экселе таблицу их грядущих расходов. Будущее представляется ужасным. Как специально, радио надрыгается с удвоенной силой. Кажется, Серёжино хитовое прошлое бывает в эфире чуть ли не дважды в час. Подсчитать легко, потому что за соседним столом завелся постоянный приемник. Сансевиерия сдалась довольно скоро и скорбно сложила листья. Выяснилось, что сотрудники, желая помочь растению, в тайне от уборщицы и друг друга, поливали цветок. Так офис проиграл детскому саду.

Но Серёжа винит во всем радио. Он вбивает название станции в поисковике. Оказывается, что они сидят недалеко от его офиса, минутах в десяти ходьбы. Пойти, что ли, им в окно чем-нибудь бросить... В ответ ведущий сообщает, что новые битлы только что переступили порог их студии, что он горд поговорить с ними про сногсшибательный успех и умопомрачительные гонорары. Дальше Серёжа не слушает, он бежит туда. Песня несется следом. Каждый ее бит, каждая пауза подставляют подножку. Пахнет общей сигаретой, что курили на крыше. Слышен плеск ледяной воды в карьере, куда она ночью на спор прыгает в его футболке. Болит нос, сгоревший на солнце: он все ждал ее на платформе, и она теперь размазывает по носу сметану, рисует под ним усы и после слизывает их.

Было около пяти, темнело. Скользко, нелепо. Лицо горит, на носу тают снежинки. Воспоминания растворяют настоящее, и нет никакой возможности осознать, что навстречу из студии выходит не он сам, а кто-то другой. В одной руке чехол с гитарой, в другой — ее ладонь. С ними еще трое. Довольные. Проходят мимо. Стойте — слышит себя Серёжа. Поворачиваются. Чего тебе? Автограф что ли? Она перебивает. Серёжа, это ты?! Дыхание — пар, и сквозь него помада цвета портвейна. Я не понял, Лиза, ты его знаешь что ли? Вы сперли у меня песню! Других реплик Серёжа не находит. Чего-чего! Подождите! Берет за рукав. Серёжа, это я разрешила. Но ты говорил, что она — моя. Через толстое зимнее пальто ее рука такая же горячая, и улыбается она все так же. Ребята просто попробовали спеть. Они сами... никто не ожидал. Ну прости, Серёжа. Сжимает рукав и Серёжину жизнь. Да ладно, я не об этом. У меня есть другие песни. Деньги нужны, я хотел продать. Но ты бери просто так. Вот, держи. Ну пока. Тетрадь остается в руках у Лизы, и Серёжа уходит. Внутри стучит, из палатки с сигаретами рыдает все та же, но теперь уже не его песня. И когда это он схватил с собой тетрадь? Время шесть, рабочий день закончен.

Февраль. Серёжа старается приходиться с работы ближе к ночи, Аню тошнит с утра до вечера, денег заранее не хватает, все разговоры сводятся к этому. Песня, еще недавно несущаяся из каждого угла, звучит все реже и пахнет не холодной водой карьера, не сметаной на горячих пальцах, не общей сигаретой и не портвейном.

Пахнет она теми сумерками, мокрым пальто и ее ладонью в чужой руке, улыбкой и навсегда потерянной тетрадью.

Ты где работаешь? — светится телефон. В смысле? Кто это? Скинь адрес! Серёжа дожидается, пока ровно в шесть все схлынут из офиса, и сам выходит, предварительно прогулявшись по всем коридорам здания. Жарко, и от сухого воздуха першит в горле. Выходит на улицу. Лиза стоит на крыльце и дышит на ладони в перчатках. Улыбается тепло. Так сколько же лет прошло? Нисколько. Гуляют часа два, заходить никуда не хочется. Так холодно, будто воздух вот-вот треснет и в его щели просунется весна. Когда, наконец, останавливаются где-то, на полуслове, она вытаскивает из сумки его тетрадь. Держи. Я всегда говорила, что ты должен сочинять. Уходит. Серёжа сует тетрадь в рюкзак. Оглядывается. В городе непривычно тихо — попрятались от мороза по домам и семьям. Серёжа тоже идет домой. Какое-то время он видит перед собой Лизу. Она не спешит и вскоре поворачивает в ближайший переулок. Когда он доходит до него, она все еще покачивается вдалеке, видимо, боится поскользнуться — кажется, даже виден пар от ее дыхания. Но точно не разобрать: посреди переуллка вспыхивает и гаснет испорченный фонарь.

Разборки

Горячую воду отключили очень кстати: жара стояла липкая, соленая. А Олег к тому же был влюблен. Впервые в жизни, между прочим. Звали ее Анечкой, и каждую букву ее имени Олег облизывал и сглатывал по тысяче раз на дню — раньше он был убежден, что на это способны только женщины или какой-нибудь извращенец вроде Гумберта Гумберта.

Запираясь в ванной, он вставал под струи ледяной воды, открывал рот... Анечка была такая же — прозрачная, живительная, неуловимая — вот так сейчас ей и напишет... лишь бы не забыть... Олега ошпарило. Телефон-то остался на кухне! Он выпрыгнул из ванной и застыл в коридоре. В зеркальном отражении шкафа, будто на экране, стояла жена Нина и вчитывалась в его бушующую личную жизнь. Она подняла глаза, и в белеющее отражение Олега врезался телефон.

Следом полетели вещи, посуда, обручальное кольцо опустилось на дно унитаза. Олег был избит тувельной шпилькой. Их крики — ее хлесткие, его оборонительные — воланом перелетали через сетку. Ах ты урод! Ты все не так поняла... Ублюдок! Я люблю только тебя... Пошел вон! Ты все слишком близко принимаешь к сердцу... Убирайся! Я не смогу без тебя, Ниночка! Олег привычно следил за своим оправдывающимся ртом. Подумать, стоит ли произносить все это, возможности не было, и он уверенно следовал инстинкту, тому самому, что и привел его когда-то в ЗАГС. Ты никогда меня не любил! Вали отсюда! Выкинутый за дверь, Олег спустился во двор, пронаблюдал, как на деревья с кустами опускаются его пиджаки и рубашки. Вдохнул запах горячего борща, вылитого следом из окна. Отварить бульон пожирнее, капусту потушить со свеклой, морковь припустить с лучком, в конце соль, перец, укропчик и побольше чеснока... По супам Нина была большой специалист, а вот курицу с рыбой пересушивала. Добрел до машины, телеграфировал Анечке: «Я ушел от жены», получил в ответ семь красных сердец и сообщение, которое прочитать не успел, потому что открылась дверь, и в машину села Нина. Олег ждал побоев и не очень разбирал слова. Ладно, я дура. Может у вас и правда ничего нет. Но кто она такая... — безвопросительно взмолилась Нина. Да никто, никто? — уверил инстинкт, но голос изумленного Олега добавил к этому вопросительности. Ты говорил такие слова, я никогда не слышала и не ждала... Ты правда меня так любишь?.. Олегу было интересно, что он там наговорил, но инстинкт запретил высовываться. Он взял жену за руку, Нина заплакала, и они вернулись домой. Прихватили швабру, стремянку и отправились раздевать кусты с деревьями. Потом затеяли стирку. Олег даже думал успеть с пиджаками в химчистку, но сообразил, что лето и поэтому еще светло, а на

самом деле уже вечер. Ближе к ночи помирились, кажется, окончательно. Телефон же, пригревшись в кармане Олега, продолжал краснеть, рыдать, вопрошать и пульсировать, пока, наконец, не разрядился. Вместе с ним отключился и сам Олег.

Утром стало понятно, что вчерашнее было увертюрой. Нина ожидала жеста — необходимо было вымалывать у нее прощение. Зарядившийся телефон заливиисто вибрировал. Олеженька! Куда ты пропал?! Все в порядке? Я ждала весь вечер! Приготовила твою любимую солянку! Если ты передумал, так и скажи, я пойму! Ну где ты, любимый?! К тому же окончательно обнаглело солнце. В квартире оно было повсюду, казалось, било прожектором из всех углов, жгло, обнажало. Дали горячую воду, но оценить этого Олег не мог: сидел голый на бортике ванны. Без женщины, телефона, а главное, без вариантов. В этой пустоте возник отец, точнее, воспоминание о нем.

Олег сто лет не приезжал к нему, еще дольше они не разговаривали. То есть были всякие дни рождения и прочие праздники, созванивались на два слова регулярно, но так чтобы просто побеседовать, ну по-человечески, бог знает, может, даже еще со школы не удавалось. А как мамы не стало, возникла еще и неловкость какая-то. Вроде нельзя о ней не вспомнить, а сказать нечего и глаза жжет.

Олег помчался к папе. Объятия, жесткая отцовская щека, одеколон. По нерешительной, усталой спине Олега весело прохлопала ладонь старика... Отец был счастлив. Отец влюбился. Ее звали как-то, была она лет на сколько-то его моложе и работала где-то там. Какая радость поделиться с сыном! Как хорошо, что ты приехал, сынок! Олег чокался, хрустел яблоком, оглядывался, вдыхал... Хорошо дома. Хорошо, что приехал, и хорошо, что не стал грузить своими проблемами: зато полностью успокоился в объятиях отца. То что папа влюблен — вначале оцарапало. Странно, непривычно, но в конце концов даже забавно, да и трогательно. И очевидно, что с Нинкой надо расходиться, потому что ничего нет важнее любви. Да и какое она право имела влезать в его телефон. Черт с ней! И размягченный дешевым коньяком и предзакатной парилкой, Олег улыбался фотографии с очертаниями папиной возлюбленной, вместо которой представлялась сияющая Анечка. Хрупкая, деликатная. Надо написать ей, успокоить, все в силе, Анечка, я люблю тебя, я соскучился, я скоро буду. Промахивался мимо букв, кричал, блестел глазами. А папа говорил, говорил, говорил так, словно было в его словах что-то важное, что непременно нужно услышать, разобрать. И тогда Олег схватил наугад из всей тысячи всего два слова, самых настойчивых. Мы женимся. Чего-чего? Ну понятное дело, фата, букет, шампанское... Ну я-то могу не приходиться, да я и не приду, и не собирался я, но я что-то не понял, а квартира, а дача, а гараж? Олег молчал и кивал головой с зафиксированной улыбкой. Потом опрокинул пару рюмок, встал, удивившись собственной свежести, будто пил не коньяк, а папину радость и оптимизм. Наскоро сполоснул посуду, одними пальцами потрепал отца по плечу. Я очень рад за тебя, папа, но мне пора, меня ждут. Принял хлипкое, благодарное отцовское обнимание и ушел.

Доехал на такси. Как-то прошел через двор, как-то поднялся на лифте, в руках откуда-то взялся букет, каких он в жизни не покупал. Открылась дверь. Это я. И протянул цветы. Из кухонного окна на лестничную клетку пронесся первый осенний вздох с чем-то мясным вперемешку. Солянку будешь? Он скидывал ботинки, смотрел в отражение, где она втискивала букет в вазу. А правее темнело его лицо, поделенное на части мелкой паутиной — следом брошенного вчера телефона. Последний как раз уцелел, был бодр и продолжал трепетать, мигать и умиляться, забытый на сидении такси.

А Олег ел вторую тарелку супа. Отец совсем поехал по ходу. Подлечить бы. Может, звякнешь своей Женке из психоневрологического, в больничку бы его. Нина вздохнула. Возраст, что ж теперь. Все там будем, Олежка. И уткнулась в свой телефон.